

## ПРАХ ПОЭТА

Теперь деревня Льгово, а прежде древний город Ольгов стал на высоком обрыве над Окою: русские люди в те века после воды, питьевой и бегучей, второй облюбовывали — красоту. Ингварь Игоревич, чудом спасшийся от братних ножей, во спасенье своё поставил здесь монастырь Успенский. Через пойму и пойму в ясный день далеко отсюда видно, и за тридцать пять верст на такой же крути — колокольня высокая монастыря Иоанна Богослова.

Оба их пощадил суеверный Батый.

Это место, как своё единственное, приглядел Яков Петрович Полонский и велел похоронить себя здесь. Всё нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и озираться на тихие просторы.

Но — нет куполов, и церковей нет, от каменной стены половина осталась и достроена дощаным забором с колючей проволокой, а над всей древностью — вышки, пугала гадкие, до того знакомые, до того знакомые... В воротах монастырских — вахта. Плакат: «За мир между народами!» — русский рабочий держит на руках африканёнка.

Мы — будто ничего не понимаем. И меж бараков охраны выходной надзиратель в нижней сорочке объясняет нам:

— Монастырь тут был, в мире второй. Первый в Риме, кажется. А в Москве — уже третий. Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они ж не разбираются, все стены изгадили, иконы побили. А потом колхоз купил обе церкви за сорок тысяч рублей — на кирпичи, хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался: пятьдесят копеек платили за целый кирпич, двадцать за половинку. Только плохо кирпичи разнимались, всё комками с цементом. Под церковью склеп открылся, архиерей лежал, сам — череп, а мантия цела. Вдвоём мы ту мантию рвали, порвать не могли...

— А вот скажите, тут по карте получается могила Полонского, поэта. Где она?

— К Полонскому нельзя. Он — в зоне. Нельзя к нему. Да чо там смотреть? — памятник ободранный? Хотя постой, — надзиратель поворачивается к жене. — Полонского-то вроде выкопали?

— Ну. В Рязань увезли, — кивает жена с крылечка, щёлкая семечки.

Надзирателю самому смешно:

— Освободился, значит...

### Австралиец

Веселый весенний день на Пикадилли. От солнца -- все, как шампанское: полно острых искр -- несетя, пенится через край. И люди все -- легкие, золотистые, распахнутые, расстегнуты пальто, раскрыты губы. Торопятся в парк: там на газоне, на скамьях -- везде по двое, об руку, глубоко -- глазами в глаза, и переливается через край сердце.

И навстречу, издали, шел офицер -- австралиец, издали виден; головой выше всех, в широкополой австралийской шляпе, лицо -- из бронзы, огромное. Они все на диво хороши, австралийцы. Шел медленно и высоко, напоказ, над толпою нес голову, и еще издали любовались им.

А когда подошел ближе -- вдруг оробела веселая толпа, затихла, расступились в стороны, и австралиец шел, как по коридору. Шел, подняв голову прямо к солнцу, руки вытянуты, постукивал дробно палкой: орлиное лицо было без глаз.

И я, вместе со всеми, прижался оробело к стенке коридора. И так было ясно: какая же может быть победа, и у кого может быть радость после победы, если есть австралиец без глаз? Не надо ничего, только бы он мог пойти в парк, сидеть об руку и смотреть, смотреть, смотреть в чьи-то глаза.

### Комната Лены

Я говорю: “Лена, почему вы не выбросите все вот эти вещи, засунутые у вас даже в хлебницу, а сами в своей четырнадцатиметровой квартире ходите пригибаясь и чуть ли не ползком между наваленными вешалками, из-за этого не открывающимися дверями, гости-то к вам не ходят из-за того, что некуда, вы это понимаете?” Она отвечает: “Нет, я не выброшу эти вещи, потому что, может быть, они кому-нибудь пригодятся”. – “Да кому нужно это нестираное старье?! Ну отнесите на помойку, положите рядом, как все нормальные люди делают”. – “У меня много друзей”. – “Представляю ваших друзей в таком случае. И вообще, мы делаем ремонт или переставляем хламье?..” — “... Это не хламье, это, например, жестянка от игры в машинку, в которую играет мой сын...” — “Вашему сыну уже шестнадцать лет, он музыку на компьютере делает...” — “Все равно не дам выбросить! Она мне дорога как память...” — “Ленушка, поберегите вашу память для более важных и полезных вещей, я понимаю, если б это была нормальная целая игрушка, а ведь здесь только одна из погнутых деталей, выполнявших в общем устройстве совершенно невообразимую сейчас функцию... эти книги... можно, кстати, взять почитать вот эту – о бунтующем человеке?” — “Возьмите”. – “Спасибо. Мне кажется, сейчас как раз очень актуально вот это возвращение в себе бунта, умение жизнь прожить не сгибаясь, не поддаваясь, необходимо, как никогда, сейчас противопоставить истинную серьезность этой надуманной фальшивой официальной серьезности бытия...” — “Что вы называете “истинной серьезностью”? Куда вы потащили стопку справочников? Они нужны мне для работы...” — “Дорогая, но они за пятидесятые—шестидесятые годы, информация давно устарела...” — “Я историк, они мне нужны. Так что там насчет бунта? Вы что-то такое загнули... Поймите, это всего лишь идея. Красивая идея. Чем красивее, тем лучше. Нужно уметь ценить подобную красоту...” — “В смысле как “идея”? Идеи ведь нужно проверять жизнью!” — “Это вначале так кажется, а потом понимаешь, что, если бы идей не было, жизнь была бы просто-напросто более приземленная, что ли, идеи, видите ли, это нечто от божественного...” — “Не знаю, Лена, вы же пишете стихи, я видел ваш сборник – “Демаркационная линия”, вы же красите ногти в разные цвета, вы же не имеете права, как поэт, не отвечать за свои слова, ведь поэт – это почти что революционер...” — “Секунду, секундочку, эх куда вас занесло. Успокойтесь, мальчик. Деньги на хлеб, на то, чтобы сделать ремонт, я зарабатываю составлением эзотерических пособий, складывая один невероятный факт к другому, подкрепляю случаем из истории и даю четкую авторитетную обоснованность. Это точно такой же винегрет, что и мои ногти, только посложнее, тут надо подольше посидеть, разобраться, большая часть того, что мы можем приобрести себе в жизни в интеллектуальное пользование, позвольте так выразиться, если уж мы вдруг перешли на серьезные темы, это чушь, более или менее составленная, а вот достоинство этой книги про бунтующего человека – что она не только составлена, но еще и прожита...” — “Ха-ха-ха, я же вам говорил, что идею нужно проверить на жизни!..” — “Я не про то... автор так составил ее, что внутри его самого уже ничего не осталось. Это чувствуется, людьми всегда ценятся искренность и смелость, поэтому книга и осталась в истории. А что там стало с самим автором, уже далеко не настолько важно. А мой эзотерический винегрет завтра раскупят любители пощипать мозговые отростки перед сном, а послезавтра о нем забудут, зато я буду иметь возможность хоть что-нибудь покушать послезавтра”. – “Да, не ожидал от вас такого после “Демаркационной линии”, где вы пишете о хождении по краю возможного...” — “Это жизнь, Сергей, а зрелость и состоит в том, чтобы понимать, чего ты в ней можешь, а чего не можешь”.

И мы молча вернулись к переставлению гор хлама и пыли с места на место, чтобы приклеить на оставленном пустом пространстве стены полоску обоев, потом переставляли туда предыдущую гору хлама, чтобы освободить очередную полоску стены.

К Елене, известной в некоторых кругах поэтессе, заходили иностранные друзья, разглядывали ее полуподвальное, как бы “исподлобное” помещение, в котором будто скопилась вся угрюмость бытия... жития... духа... в трех шагах от праздничных центральных проспектов, в каком-нибудь Долбановом или Бегемотовом переулке, заходили, говорю, иностранные друзья, они распивали стоя, так как присесть было негде, по бутылочке бургундского и переговаривались:

— Yah! Yah! Dostoevsky!

— Вот-вот, и я про то же. Достоевский.

## АВТОБУС

Как-то раз гадюка Аленка договорилась с кукушкой Калерией, что та поселится у нее в доме и будет показывать время, дружить так дружить!

Однако в разгар дружбы Калерия снесла яйцо в шляпу Аленки по своей привычке бросать детей где попало.

Аленка долго давала круги вокруг шляпы, но сделать ничего так и не решилась, против детей не попрешь, стала носить косынку.

Аленка по телефону всем нажаловалась на свою мягкотелость и уступчивость, Калерия сидела униженная, но куковала как обычно, пока однажды не отомстила: прокуковала утром восемь раз, девятый раз не стала.

Аленка из-за этого опоздала на важный автобус, не уехала к поезду и вообще в деревню, вернулась с полдороги домой и плакала перед неподвижной Калерией из-за погубленного отпуска.

Калерия отвечала ей строго по часам, уговор дорожке денег, и только “ку-ку”.

Однако тут же вылупился кукушонок, его назвали Шурка, начались хлопоты, кукушка Калерия сбесилась и куковала без передышки, Шурка марался прямо в гадюкину шляпу, но Аленка проявила бесхарактерность еще раз, не съела Шурку за такие дела, хотя подруги по телефону советовали ей многое.

И в результате Аленка вышла на работу в свою аптеку как на праздник после такого отпуска, а сколько было радости, когда Шурка улетел, а Калерия отпросилась на выходные и не вернулась!

## ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Году в 84-м в Стенфорде проходила конференция по славистике, на которой я выступил в новой для себя роли феминиста. Мой доклад (ранняя версия “Прогулок по Маяковскому”, акцентировавшая его женоненавистничество) имел определенный успех, но не с ним оказался связан самый для меня интересный — и самый загадочный — эпизод конференции.

В перерыве ко мне подошел лысоватый с бородкой человек российско–еврейского вида. Он назвал меня по имени–отчеству, представился и предложил зайти к нему в кабинет, расположенный в том же здании. Его фамилия показалась мне смутно знакомой, немного времени у меня было, отказ мог бы прозвучать высокомерно, и я согласился, про себя любопытствуя, зачем я мог ему понадобиться.

Мы зашли в его офис, он предложил чаю, я поблагодарил, но отказался. Он стал называть общих знакомых — все диссидентского толка, я поддерживал разговор, как мог, по–прежнему не понимая, куда он клонится.

Хозяин упомянул Александра Гинзбурга, мою первую жену — “мисс Арину” Гинзбург, Солженицына (и его вторую жену, с которой я был когда–то знаком в Москве) и вновь предложил поставить чайник. Я сказал “спасибо, не надо” и спросил его о его работе, немного беспокоясь, что может последовать какая–нибудь бестактная или невыполнимая просьба, но сознавая, что чему быть, того не миновать.

Он оказался математическим экономистом, изучающим советский демографический кризис. Ставку в Гуверовском институте, как он дал понять, он получил благодаря поддержке Солженицына. Таким образом, о потребности в помощи со стороны моей скромной персоны дело, скорее всего, не шло. Но тем более интригующим становился тайный смысл происходящего.

За упоминанием о Солженицыне опять неукоснительно последовало предложение чая. Но я извинился, сказав, что мне пора бежать на заседание, попрощался, и на этом мы расстались.

Загадка странной чайной церемонии занимала меня еще долго. Время от времени я рассказывал о ней коллегам, но никто не мог пролить на нее свет, — пока я, наконец, не поставил эту проблему перед NN. Она тогда все дальше уходила от чистого литературоведения в его психиатрические и социологические ответвления, и я, кажется, поддразнил ее, сказав, что, мол, вот вам test case для применения ваших методов.

К тому времени я уже забыл фамилию демографа, но она легко ее восстановила:

— А–а, понятно, — сказала она. — Это был Б.?

— Да, теперь вспоминаю. Так чего же он от меня хотел?

— Он, как вы правильно заметили, хотел угостить вас чаем.

— Но зачем ему это было нужно?

— Дело в том, что из числа сотрудников Центра лишь немногие удостоены так называемых “чайных привилегий” — права, несмотря на строгости пожарной охраны, держать в офисе электрический чайник. Принадлежность к этой почетной категории требует непрерывной демонстрации, но, видимо, со всеми сколько–нибудь знакомыми коллегами он это уже проделал. Тут–то вы и подвернулись.

Возразить было нечего. Социопсихология кругом себя оправдала.

## УМРЕТ НЕ ОТ ЭТОГО...

Одного выдающегося геронтолога спросили то, что положено у него спросить, наверно, имея в виду диету и здоровый образ жизни, и он ответил:

"Во-первых, следует правильно выбрать себе родителей".

После семидесяти, выйдя наконец на пенсию, мама стала очень решительной старушкой. Все-таки дитя своей эпохи, мыслила не иначе как в пятилетках. Когда ей стукнуло семьдесят пять, она гордо заявила, что теперь она самая старшая, потому что у нас в роду никто еще этот рубеж не переходил. К восьмидесятилетию она бросила курить, потому что, когда зачем-то полезла на стул, у нее закружилась голова, и это ее насторожило. И только тогда до меня дошло и восхитило: она опять поступила на работу.

Мама всегда гордилась тем, что она профессионал. Теперь ее профессией стала жизнь. Своим стареющим сыновьям она зарабатывала уже не на жизнь, а саму жизнь: способность прожить не меньше.

Как молодой специалист, она не избежала ошибок. Чем немогшей она становилась, тем настойчивей отбивала срок. Никогда ничего не попросить и ни у кого не одалживаться — избыточная самостоятельность ее и подвела: каждый день ставя себе цель и неуклонно к ней стремясь, именно с нее она и начала падать, ломая то руку, то ногу, мужественно выкарабкиваясь и ломая снова.

Так ей исполнилось восемьдесят пять, и она взяла установку на девяносто. Но ее беспокоила нога. Точнее, один на ней палец. Сосуды, возраст... все это пугало. Мама была нетранспортабельна. Если его привезут и отвезут, то он посмотрит, сказал хирург.

Ему это было некогда и некстати — куда-то еще ехать. Но уж очень за меня просили. Недовольного и усталого от бессонной ночи не то за хирургическим, не то за праздничным столом привез я его. Осмотр длился минуту. Он посоветовал протирать спиртиком. Денег категорически не взял: мамин случай не стоил его вызова. И именно тут, от его неприветливости, я поверил в его великую репутацию и все-таки спросил напрямую...

— Умрет не от этого, — прямо взглянув мне в глаза, нехотя буркнул он.

Успокоенный, я поехал сопровождать своего двенадцатилетнего Ваню в Абхазию, к морю. Давненько я у него не был, у моря... С маминого восьмидесятилетия, отмеченного так счастливо в той же Абхазии.

И вот, выходя с этим трепетом первого в сезоне огурца на пляж, гордясь своим голенастым сынком, нетерпеливо стаскивая на ходу фуфайку через голову...

Крест у меня был особый, каменный, подаренный мне моим лучшим другом и крестным, освященный в Иордане... Монолитный, толстый...

И вот, падая с метровой всего высоты на пористый и присыпанный песочком бетон ступеньки, он раскалывается на кусочки, как рюмочка.

И не успел я дойти до моря, как меня вполношенно позвали обратно в корпус, к телефону...

"Пока мама жива, мы молоды", — говорят на Кавказе.

## ТЕАТР – ЮНОШЕСТВУ

А если у них лазерные указки?

Я стою за кулисами. Уже начинаем. Сейчас погасят свет, пройдет еще секунд двадцать пять – тридцать, не больше, и Лена выйдет, вернее, войдет в боковую зрительскую дверь, как с улицы, как будто случайно – шла вот мимо, – остановится перед сценой, поправит волосы, начнет говорить...

А если у них с собой лазерные указки или еще что похуже?

Мы приехали со спектаклем в рамках проекта «Театр – юношеству». Чем-то пахнет... Почему так тихо в зале? Нет, что ли, никого? Директор клялся, что все куплено. Чем это пахнет так, елки?..

Мало ли что на уме у здешнего юношества...

Я смотрю в зал.

Там старухи. У них удивленные лица. Зал полон удивленных старух.

Они подрисовывали брови, надев очки, и брови получились высоко. Старухи с изумленно поднятыми бровями пришли смотреть спектакль в рамках проекта «Театр – юношеству». Вместо юношества. Его тут, похоже, вообще нет. А пахнет – шкафами, старой одеждой, они наряжались, вынимали одежду из шкафов.

Как нас примут старухи? Вдруг не поверят, скажут, что было не так, что они помнят. Нет, не помнят они. Те, что помнили, уже кончились, они были в моем детстве. Это другие. Поколение, даже два поколения старух, всю жизнь проживших без войны, но много читавших и видевших фильмы. Раньше, когда старухи были маленькими, за этим очень следили, называлось – «патриотическое воспитание».

Начинаем!

Гасят свет, короткая тишина, скрипит тяжелая старая боковая дверь, отодвигается портьера...

Лена угловата, и это очень здорово. Робяя и комкая перчатки, она начинает говорить о давней, почти забытой войне, о далеком, белом от балканского солнца городе... Город удивленно привыкает к бомбежкам, черному рынку и карточкам, а в императорских оранжереях уже разворачивают госпиталь...

Лена смотрит в зал доверчиво и близоруко. Ее старомодное пальто должно пахнуть дождем. Хотелось бы, чтобы пахло. Но здесь нет дождя, тепло, сухо, всюду опавшие листья, их не убирает никто. В городе нет дворников и юношества.

Старухи слушают молча. Когда спектакль кончается, они вежливо хлопают, встают и уходят, поддерживая друг друга. На некоторых бусы. В фойе люди в униформе раздают старухам гречку. «Граждане, посещавшие социальное мероприятие, быстро проходим в автобусы!» – зовут люди в униформе, и старухи с пачками гречки семян к выходу.

А где старики? Не любят театр? Старики давно умерли, так всегда. Старики умерли, а старухи остались смотреть спектакль про войну в рамках проекта «Театр – юношеству» и получать гречку.

Город завален осенними листьями, их не убирают. Темнеет. Очень темно, фонарей почти нет... Вот так город – ни фонарей, ни стариков, ни юношества, ни дворников... Фуршет в кабинете директора – белый хлеб с толстыми кругами колбасы, местный коньяк не сразу проглатывается, шершаво застревает в горле и больно стоит в груди, а шоколадные конфеты пахнут подсолнечным маслом. Мы тут в гостях. У нас в гостях московские актеры... В рамках проекта «Театр – юношеству». Директор обнимает меня с ненавистью, а худрук вообще не пришел. Мы зажавшиеся, успешные столичные актеры, и с нами Лена – звезда сериала по третьему каналу, и все у нас впереди... Директор, похоже, думает, что у нас что-то там впереди, а ему остался задушенный осенней листвой город, где старухи идут в театр за крупой. Какая-то девушка в уголку молча смотрит то на меня, то на Лену сияющими глазами, и никто не представляет ее нам.



Садимся в микроавтобус у служебного входа. Темнота, и ветер пахнет огромной рекой, она тут, поблизости, еще километров двадцать – и она.

Девушка, та, что молчала весь вечер, вдруг начинает говорить – это такой спектакль, такой спектакль, никогда не забуду, я тоже актриса, в этом театре, и даже в кино снималась, тут летом снимал режиссер Пырываев, и я снималась, и он мне дал визитку, только он недоступен всегда по мобильному, наверное, я не так набираю...

Водитель Юра садится за руль. Девушка прощается с нами за руки.

Нет, это не рукопожатие – она хватается за руки, за одежду, вцепляется в нас: приезжайте, здесь летом очень, очень красиво, тут есть святой источник, у нас такие рассветы...

Я боюсь, что она упадет на колени...

Когда-то и Лена выкарабкивалась так же из своего поселка, которого нет ни на одной, даже самой подробной карте.

По чудовищным ухабам в кромешной тьме микроавтобус выбирается на федеральную трассу номер четыре. Тут еще темней. Юра врубает дальний. Наши гомонят, засыпая, и Лена с гримершей Катей обсуждают тоник для лица... Под утро мы будем в Москве. Лена засыпает, прильнув ко мне, ее детское лицо из тех, что минуют зрелость, сразу становятся старыми. Поэтому Лене предстоит как можно дольше оставаться девочкой, иначе не найти работу...

Вдоль шоссе темные избы... Остаться бы тут, в темноте, пахнувшей близостью огромной реки. Ходить в лес, знать толк в опятах и подореховиках, жить огородом и лесом, пить водку. Спрятаться и выжить можно только здесь – скоро война похуже тех, про которые спектакли и книжки, и огромный, никем не любимый город одиноко и неотвратимо первым встретит ее...

## ЧАЙ С МОЛОКОМ

Чай с молоком — много лет мне становилось нехорошо от одного вида этого безобидного и даже полезного напитка. Причиной такой странной реакции послужило одно событие в моем раннем детстве, оставившее яркое воспоминание. Я незадолго перед этим начала ходить в детский сад, который располагался прямо под квартирой, где мы жили: нужно было только спуститься со второго этажа на первый. Это было очень удобно — меня не нужно было отводить в садик, я сама захлопывала дверь нашей коммунальной квартиры, спускалась вниз и барабанила в детсадовскую дверь, если она была закрыта. В тот день сначала всё шло как обычно, и он слился бы с чередой других дней, не оставив никаких воспоминаний, если бы не сильнейший стресс, который мне пришлось пережить. Вообще, из личного опыта и многих свидетельств я вывела закономерность, что запоминается, особенно в детстве, лишь то, что нарушает привычный ход событий, вызывает в душе настоящую бурю, взрыв эмоций, за редким исключением, негативных. Я отчетливо помню, как мы, дети, сидим за маленькими столиками и что-то едим, а потом пьем чай с молоком. Вдруг кто-то из соседей по столу толкнул меня под локоть — и я пролила почти полную чашку, так что на полу образовалась целая лужа. А дальше произошло вот что. Наша воспитательница решила, что я сделала это нарочно, потому что баловалась, и тут же на мне продемонстрировала свой метод воспитания: заставила меня вытирать эту лужу, но не дала тряпки. И я долго, как мне запомнилось, ползала по полу и собственным передничком вытирала этот тут же ставший мне ненавистным чай с молоком, вся при этом измазалась, замочила чулки и платье, слезы лились ручьем, а пол никак не становился сухим. Было мне тогда три с половиной года.

Иван Бунин

### Третий класс

Глупец тот, кто воображает, что он имеет полное право и возможность ездить когда ему угодно в этом классе!

Вот Цейлон, Коломбо, март 1911 года.

Утро, всего восьмой час.

Но зной уже адский, он густ и неподвижен, как перед той страшной грозой, которой, должно быть, начался потоп.

Весь в белом и в белом шлеме, сижу в раскаленной лакированной колясочке, в маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой ровно и крупно, слегка подавшись вперед, мчится высокий и черный, весь блистающий своей могучей великолепной наготой тамил.

Еду на вокзал, чтобы отправиться — ну, скажем, в Анарадхапуру.

И вот впереди уже площадь, пустая, белая, ослепительная, а за нею еще более ослепительное белое здание вокзала, — оно почти страшно своей белизной на белесом от зноя небе. Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени черное тело и длинные черные волосы тамила режут глаз.

В здании вокзала легче, всюду веет теплый сквозняк.

Сняв шлем, вытираю мокрый ледяной лоб, кость которого так ощутительна при поте, и спешу к выходу на платформу. Высокий и тяжелый, с белыми крышами и навесами над окнами, поезд уже готов. Спешу к будочке кассира, вынимаю на ходу ровно столько монет, сколько требуется на проезд до Анарадхапуры в третьем классе, и стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином:

— Third class, Anaradhapura! Третий класс, Анарадхапура!

— First class? Первый класс? — спрашивает англичанин.

— No, third class! — кричу я.

— Yes, first class! — кричит англичанин, выкидывая мне билет первого класса.

И тогда я прихожу в ярость и начинаю кричать приблизительно так:

— Слушайте, мне это осточертело! Я хочу видеть все особенности страны, всю ее жизнь, всех ее обитателей, вплоть до самых "презренных" как вы любите выражаться цветных людях, которые, конечно, не могут да и не смеют ездить в первых классах. Но всякий раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается борьба с кассиром! Я твердо и ясно требую третий класс, однако, пользуясь созвучием слов, меня всякий раз перебивают, дурачат: "Вы хотите сказать, первый класс?" Я кричу да нет, третий! Но мне все-таки выкидывают билет первого класса. Я швыряю его назад — и тогда кассир вне себя от негодования и удивления, что белый человек одержим низким и безумным желанием сидеть рядом с цветным, начинает тоже кричать, пугает меня насекомыми, которых я могу набраться от цветных, главное же, наставляет меня в том, что никто, решительно никто из белых не ездит в третьем классе, что это не принято, неприлично, возмутительно!

И я твердо заключаю:

— Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую!

В конце концов кассир сдается: пораженный моей яростью, он на мгновение каменеет и вдруг решительно швыряет мне билет третьего класса.

Торжествуя, водворяюсь я в вагоне и жду спутников, этих самых "презренных" цветных. Но что за черт — их нет и нет! По платформе, мимо моего купе, несется непрерывный сухой шорох босых бегущих ног.

Но почему же несется он все мимо, все дальше куда-то?

А, понимаю: это их пугает мой шлем, белый шлем белого человека!

И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова жду — снова напрасно.

— Теперь-то почему же никого нет? — думаю я. — Ведь теперь они меня не видят?

И я вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять, в чем дело, — и дело объясняется тотчас же и очень просто: на моем купе крупно написано мелом, что оно —

занято! Едва я успел войти в него, как на нем написали: занято! Настоял, мол, на своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе — сиди, идиот.

И несется, несется поезд в бездне ослепительного зноя, льющегося с неба на эту радостную, райскую землю, и четко отдается татаканье колес от цветущих лесных дебрей, без конца летящих назад, мимо окон.

— Курумба-а! — горестно и звонко кричат на остановках продавцы кокосовых орехов под сухой шорох босых ног, бегущих мимо моего купе.

И на одной из следующих остановок, я, как вор, перебегаю в четвертый класс, в вагон, набитый сидящими и стоящими, черными и шоколадными телами, которые только по бедрам повязаны мокрыми от пота тряпицами.

## **В СВЕТЕ ПОДГОТОВКИ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВЕСНЕ** **(Рассказ без единого своего слова)**

Однажды на одном из аэродромов в ожидании самолета я читал областную молодежную газету. Самолет запаздывал, и мне пришла в голову идея сложить “высокохудожественное” произведение из вполне доброкачественных словесных блоков, которыми пользовались сотрудники этой газеты.

В свете подготовки к предстоящей весне я коренным образом пересмотрел ранее сложившиеся взгляды на проблемы любви и дружбы и тщательно взвесил все свои заветные планы и замыслы. Весна — самая благодатная пора для принятия дополнительных мер и для дальнейшего накопления. В арсенале любого юноши имеется четко разработанная технология по эффективному использованию природных резервов.

С этими благородными помыслами и чаяниями я вышел на широкую магистраль нашего районного центра.

По широкой магистрали двигалась небезызвестная и даже известная далеко за пределами Люба Коретко. Оперативно маневрируя внутренними ресурсами, она двигалась в направлении живописного водоема, и каждый ее благородный шаг в этом направлении встречал у меня горячее сочувствие. В свою очередь сделав определенные шаги в сторону сближения, я пошел рядом с Любой как неотъемлемая составная часть.

Недавно в жизни Любы произошло радостное событие. Она внесла ряд предложений по внесению дополнительных сил и средств в молодежную копилку, вписав таким образом еще одну яркую страницу в летопись Квазиморшанска.

В ходе выполнения поставленных перед собой насущных задач, Любе пришлось столкнуться с рядом непредвиденных трудностей. Узнали об этом девчата и пришли ей на помощь. Общими усилиями они преподнесли своему вожаку памятный подарок. Таким образом, на долю Любы выпал триумфальный успех.

Итак, демонстрируя возросшее единство, мы двигались с Любой Коретко к обширному водоему, одной из главных достопримечательностей нашего края, всегда производящей неизгладимое впечатление на квазиморшанцев и гостей райцентра.

Вокруг шелестели и радовали глаз своим зеленым убранством леса, сады и огороды. Квазиморшанцы и гости райцентра повсюду возводили светлые удобные жилища. В их практике давно уже укрепилась тенденция использовать максимум энергии для достижения поставленной цели. Покоря всех присутствующих своими прыжками, мимо проносились наши спортсмены. На груди у каждого красовались красочные эмблемы. Они неслись мимо нас с присущим им огоньком и задором.

Перед водоемом простирался луг, огромный источник кормовых ресурсов. На краю луга как живое олицетворение высился величественный памятник Пушкину. Поза поэта свидетельствовала о большом воодушевлении и неисчерпаемом кладезе талантов.

Увы, возле монумента стоял небезызвестный и даже пресловутый, а может быть даже и печально известный демобилизованный воин, питомец высшей школы, квазиморшанский умелец Боря Нечитайло. Он радовал глаз, вызывал законную гордость, хорошую зависть и отрицательное воздействие. На лице Любы отразилось удовлетворение достигнутой целью. Представители молодежи встретились тепло и сердечно. Учитывая это, следует сказать, что далеко еще не изжиты у нас случаи подмены подлинных отношений отношениями необязательными, случайными.

— Пушкин, — сказал я, — выдающийся классический поэт широчайшего диапазона...

— Верно, — перехватил инициативу Боря. — На лицевом счету Пушкина множество стихотворений, поэм и баллад, и его по праву можно назвать лучшим бомбардиром нашей ледовой дружины.

— Знаешь, Боря, — парировал я, — пора уже прекратить практику снятия сливок. Это не только сэкономит дополнительные средства, но и увеличит меры экономического стимулирования. Здесь не может быть компромиссов, Борис!

— Каждый человек, — не унимался Нечитайло, — должен учитывать в своем развитии мудрую красоту величайших шедевров, которые никогда не утрачивают присущего им огонька и задора.

Лицо Любы озарилось большим неподдельным чувством.

— Каждый человек должен внести свой вклад в общую сокровищницу, — пробормотал я. Поручкой тому — смелые поиски, созидательная энергия...

На лице Любы мелькнула тень неразрешимых противоречий. Это был прямой результат грубой провокации и зловещего клубка мрачной статистики.

— Знаете ли, Иннокентий, — сказала она мне, — вы не просто человек, вы Человек с большой буквы. Я не говорю вам прощай, я говорю — до свидания.

Они ушли в сторону водоема, демонстрируя крепнущее единство, а я пошел в обратном направлении и влился в мощный пассажиро-поток квазиморшанцев и гостей райцентра...

...рассказ можно было бы продолжить. Примечательно то, что каждый может последовать моему примеру, вооружившись ножницами и скукой.

Владимир Солоухин

### Камешки на ладони

\* \* \*

Сколько людей на свете, столько и понятий о счастье, потому что счастье состоит в удовлетворен запросов, а запросы бывают разные. Русская пословица говорит: «У каждого по горю, да не поровну. У одного похлебка жидка, у другого жемчуг мелок». То же можно сказать о счастье.

Тем не менее у любого счастья существует фон, или, вернее, основа, и есть подробности крупных планов.

Наиболее прочной и, вероятно, единственно прочной основой является глубокая удовлетворенность главным делом своей жизни, которое тоже у каждого человека свое.

Личные, повседневные огорчения и радости (подробности крупного плана) могут, конечно, на время заслонять основное. Но при отсутствии основного они не могут составить счастья.

\* \* \*

Однажды я ночевал в коренном дагестанском ауле.

Днем, пока мы сустились и разговаривали, обедали и пели песни, ничего не было слышно, кроме обыкновенных для аула звуков: крик осла, скрип и звяканье, смех детей, пенье петуха, шум автомобиля и вообще дневной шум, когда не отличаешь один звук от другого и не обращаешь на шум внимания, хотя бы потому, что и сам принимаешь участие в его создании.

Потом я лег спать, и мне начал чудиться шум реки. Чем тише становилось на улице, тем громче шумела река. Постепенно она заполнила всю тишину, и ничего в мире кроме нее не осталось. Властно, полнозвучно, устойчиво шумела река, которой днем не было слышно нигде поблизости. Утром, когда мир снова наполнился криками петуха, скрипом колеса, гроыханием грузовика и нашим собственным разговором о всякой ерунде, я спросил у жителей аула и узнал все же, что река мне не приснилась, она действительно существует в дальнем ущелье за горой, только днем ее не слышно.

Каково же художнику сквозь повседневную суету жизни прислушиваться к постоянно существующему в нем самом и в мире, но не постоянно слышимому голосу откровения?

И я мог бы многое услышать в этом мире, но, к сожалению, сам я все время шумел.

\* \* \*

Красота окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе древнего человека. Потом неизбежно началась отдача. Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора. Вместе с тем изображение топора или оленя появилось на скале, высеченное при помощи камня или нарисованное пометом летучей мыши.

Но что же все-таки было в начале: потребность души поделиться с другой душой (рисунок на скале) или потребность украсить свой боевой топор и тем самым выделить свою индивидуальность?

Леонид Андреев

## ВЕЛИКАН

— ...Вот пришел великан, большой, большой великан. Такой большой, большой. Вот пришел он, пришел. Такой смешной великан. Руки у него толстые, огромные, и пальцы растопырены, и ноги тоже огромные, толстые, как деревья, такие толстые. Вот пришел он... и упал! Понимаешь, взял и упал! Зацепился ногой за ступеньку и упал! Такой глупый великан, такой смешной — зацепился и упал! Рот раскрыл — и лежит себе, и лежит себе, такой смешной, как трубочист. Ты зачем пришел сюда, великан? Ступай, ступай отсюда, великан! Додик такой милый, такой славный, славный; он так тихонько прижался к своей маме, к ее сердцу — к ее сердцу — такой милый, такой славный. У него такие хорошие глазки, милые глазки, ясные, чистые, и все так его любят. И носик у него такой хороший, и губки, и он не шалит. Это прежде он шалил — бегал — кричал — ездил на лошадке. Ты знаешь, великан, у Додика есть лошадка, хорошая лошадка, большая с хвостом, и Додик садится на нее и ездит, далеко-далеко на речку ездит, в лес ездит. А в речке рыбки, ты знаешь, великан, какие бывают рыбки? Нет, ты не знаешь, великан, ты глупый, а Додик знает: такие маленькие, хорошенькие рыбки. Солнышко светит в воду, а они играют, такие маленькие, хорошенькие, такие быстрые. Да, глупый великан, а ты не знаешь.

— Какой смешной великан! Пришел и упал! Вот смешной! Шел по лестнице — раз-раз, зацепился за порожек и упал. Такой глупый великан! А ты не ходи к нам, великан, тебя никто не звал, глупый великан. Это прежде Додик шалил и бегал — а теперь он такой славный, такой милый, и мама так нежно-нежно его любит. Так любит — больше всех любит, больше себя, больше жизни. Он ее солнышко, он ее счастье, он ее радость. Вот теперь он маленький, совсем маленький, и жизнь его маленькая, а потом он вырастет большой, как великан, у него будет большая борода и усы большие, большие, и жизнь у него будет большая, светлая, прекрасная. Он будет добрый, и умный, и сильный, как великан, такой сильный, такой умный, и все будут его любить, и все будут смотреть на него и радоваться. Будет в его жизни горе, у всех людей есть горе, но будут и большие, светлые как солнце радости. Вот войдет он в мир красивый и умный, и небо голубое будет сиять над его головой, и птицы будут петь ему свои песенки, и вода будет ласково журчать. И он взглянет и скажет: "Как хорошо на свете, как хорошо на свете..."

— Вот.. Вот.. Вот.. Этого не может быть. Я крепко, я нежно, нежно держу тебя, мой мальчик. Тебе не страшно, что тут так темно? Посмотри, вон в окнах свет. Это фонарь на улице, стоит себе и светит, такой смешной. И сюда посветил немного, такой милый фонарь. Сказал себе: "Дай и туда посвечу немножко, а то у них так темно — так темно". Такой длинный смешной фонарь. И завтра будет светить — завтра. Боже мой, завтра!

— Да, да, да. Великан. Конечно, конечно. Такой большой, большой великан. Больше фонаря, больше колокольни, и такой смешной пришел и упал! Ах, глупый великан, как же ты не заметил ступеньки! "Я вверх смотрел, мне внизу не видно,— говорит великан басом, понимаешь, таким толстым, толстым голосом.— Я вверх смотрел!" — А ты вниз лучше смотри, глупый великан, тогда и будешь видеть. Вот Додик мой милый, милый и такой умный, он вырастет еще больше, чем ты. И так будет шагать — прямо через город, прямо через леса и горы. Он такой будет сильный и смелый, он ничего не будет бояться — ничего. Подошел к речке — и перешагнул. Все смотрят, рты разинули, такие смешные,— а он взял и перешагнул. И жизнь у него будет такая большая, и светлая, и прекрасная, и солнышко будет сиять, милое родное солнышко. Выйдет себе утречком и светит, такое милое... Боже мой!

— Вот.. Вот пришел великан — и упал. Такой смешной — смешной — смешной же!

Так глубокою ночью говорила мать над умирающим ребенком. Носила его по темной комнате и говорила, и фонарь светил в окно,— а в соседней комнате слушал ее слова отец и плакал.



Владимир Солоухин

### **Камешки на ладони**

\* \* \*

Мысль или образ, еще не отлитые в форму, не заключенные в формулу, в чеканную фразу, в отточенную строфу, способны развиваться, детонировать, порождать цепочку, влекущую другие мысли и образы. Они, как летящая бабочка, которую трудно разглядеть в подробностях, но следя за которой увидишь замысловатые зигзаги ее полета и цветов, на котором она посидела, и другую бабочку, которую она спугнула, и темную ель, на фоне которой творился ее золотистый зигзаг.

Напротив, мысль или образ, облеченные в форму, это та же самая бабочка, но уже пришипленная булавкой. Ее теперь легче разглядывать и изучать, но ждать от нее больше нечего, она вся тут и никаких золотистых зигзагов, никаких неожиданностей подарить нам не может.

\* \* \*

Большая ошибка людей состоит в том, что от человека, одержимого страстью, они ждут тех же поступков, что и от недержимого, и чаще всего меряют его поступки по себе, то есть по своему хладнокровному здоровому поведению.

\* \* \*

Яркий образ в стихотворении создает как бы непростреливаемую мертвую зону. После него сознание читающего не воспринимает несколько последующих строк или воспринимает вскользь, поверхностно. Следовательно, эти строки могут быть ослабленными, малозначащими, проходными, связующими, вроде соединительной ткани.

\* \* \*

Один директор музея говорил своей сотруднице-экскурсоводу:

– Понимаете, в вашей беседе с экскурсантами есть все, как в печке, которую начали топить: есть дрова, растопка, поддувало, труба, огонь. Но нет тяги.

Этот очень точный образ применим ко многим книгам. Все как будто в них есть: и герои, и язык, и сюжет, и ум автора, и знание им жизни. Нет только тяги. И вот дрова не пылают, а шипят, чадят, едва прогорают. И читать такие книги нет никакой возможности. Нет тяги.

\* \* \*

Моя новая повесть была написана на три четверти, когда мне понадобилось съездить в Москву. Я показал матери на стопу исписанной бумаги, то есть на рукопись, и попросил, чтобы в случае пожара она спасала прежде всего эту бумагу, а не остальное барахлишко. У матери сначала не могло уложиться, как это стопа бумаги может быть дороже всего добра: одеялишек, подушек, перины, рубашек, пальто и даже самого дома.

Потом она поняла, завернула бумагу в шаль и бережно, как если бы живое или стеклянное, понесла к себе под подушку.

\* \* \*

Общественную атмосферу я ощущаю так же явственно, как и физическую. То становится тягостно и душно, то легче, то как бы перед грозой.

## **В.М. Гаршин**

Она была милая девушка, добрая и хорошенькая: для нее стоило остаться жить. Но он был упрям. В его сердце лежал тяжелый и холодный камень, давивший это бедное сердце и заставлявший больного человека стонать от боли. И он думал, что не может любить и быть любимым; камень давил его сердце и заставлял думать о смерти.

Его брат был славный юноша с смелыми честными глазами и крепкими руками. И старшему брату крепко хотелось остаться посмотреть, как будут эти глаза глядеть в лицо смерти, как будут держать ружье эти руки в бою за свободу. Но он не верил, что это случится, и хотел умереть.

Она была хорошая мать. Она любила своих детей больше жизни, но она принесла их в своем сердце в жертву и не жалела бы о них, павших славную смертью. Она ждала их смерти или победы и надеялась, что они принесут к ее ногам свои лавровые венки. Но ее старший сын не верил в это, камень давил его сердце, и он хотел умереть.

Это был великий и несчастный народ, народ, среди которого он родился и вырос. И друзья его, люди, желавшие добра народу, надеялись спасти его от тьмы и рабства и вывести на путь свободы. Они звали к себе на помощь и своего друга, но он не верил их надеждам, он думал о вечном страдании, вечном рабстве, вечной тьме, в которой его народ осужден жить... И это был его камень; он давил его сердце, и сердце не выдержало, - он умер.

Его друзья схоронили его в цветущей родной степи. И солнце обливало своим мягким сиянием всю степь и его могилу, степные травы качали над могилой своими цветущими головками, и жаворонок пел над нею песню воскрешения, блаженства и свободы... И если бы бедный человек услышал песню жаворонка, он поверил бы ей, но он не мог слышать, потому что от него остался только скелет с вечною и страшною улыбкою на костяном лице.

1875 г.

## И.С. Тургенев

### Щи

У бабы-вдовы умер ее единственный, двадцатилетний сын, первый на селе работник. Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.

Она застала ее дома.

Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движением правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.

Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.

«Господи!— подумала барыня.— Она может есть в такую минуту... Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом — и прожила целое лето в городе!

А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела, наконец.

— Татьяна!— промолвила она.— Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!

— Вася мой помер,— тихо проговорила баба, и наблевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам.— Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные.

Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.  
Май 1878

И.С. Тургенев

## Два богача

Когда при мне превозносят [богача Ротшильда](#), который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить...

— А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июль, 1878

## И.С. Тургенев

### Повесить его!

— Это случилось в 1805 году, — начал мой старый знакомый, — незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии.

Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками.

У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смиренный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом.

Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в свидетели... «Станет он красть, он, Егор Артамонов!» Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела.

Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот: то сам главнокомандующий проезжал со своим штабом. Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами.

Хозяйка увидела его — и, бросившись наперез его лошади, пала на колени — и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукою.

— Господин генерал! — кричала она, — ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! Спасите! Этот солдат меня ограбил!

Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой, — и хоть бы слово! Смutil ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою — только стоит мой Егор да мигает глазами — а сам бел, как глина!

Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито: — Ну?..

Стоит Егор как истукан и зубы оскалил! Со стороны посмотреть: словно смеётся человек. Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто:

— Повесить его! — толкнул лошадь под бока и двинулся дальше — сперва опять-таки шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним; один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора.

Ослушаться было невозможно. Егора тотчас схватили и повели на казнь. Тут он совсем помертвел — и только раза два с трудом воскликнул:

— Батюшки! батюшки! — а потом вполголоса: — Видит бог — не я!

Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии.

— Егор! Егор! — кричал я, — как же ты это ничего не сказал генералу!

— Видит бог, не я, — повторял, всхлипывая, бедняк.

Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и в свою очередь разревелась! Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры её отыскались, что она сама готова всё объяснить. Разумеется, всё это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки! Дисциплина! Хозяйка рыдала всё громче и громче. Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне:

— Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась... Ведь я ей простил.

Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, голубчик, праведник!» — и слёзы закапали по его старым щекам.

## И.С. Тургенев

### Как хороши, как свежи были розы...

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка - и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, - но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы...

А в комнате все темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною - и чудится скучный, старческий шепот...

Как хороши, как свежи были розы...

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подалее, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино - и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

Как хороши, как свежи были розы...

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жметесь и вздрагиваете у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... и все они умерли... умерли...

Как хороши, как свежи были розы...

Сентябрь 1879

**Л.Н. Толстой**

### **Пожарные собаки**

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне<sup>1</sup> приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей; ее звали Боб.

Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее — не обгорела ли она; но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу.

**Л.Н. Толстой**

**Мужик и лошадь**

*(Басня)*

Поехал мужик в город за овсом для лошади. Только что выехал из деревни, лошадь стала заворачивать назад к дому. Мужик ударил лошадь кнутом. Она пошла и думает про мужика: «Куда он, дурак, меня гонит; лучше бы домой».

Не доезжая до города, мужик видит, что лошади тяжело по грязи, своротил на мостовую, а лошадь воротит прочь от мостовой. Мужик ударил кнутом и дернул лошадь: она пошла на мостовую и думает: «Зачем он меня повернул на мостовую, только копыта обломаешь. Тут под ногами жестко».

Мужик подъехал к лавке, купил овса и поехал домой. Когда приехал домой, дал лошади овса. Лошадь стала есть и думает: «Какие люди глупые! Только любят над нами умничать, а ума у них меньше нашего. О чем он хлопотал? Куда-то ездил и гонял меня. Сколько мы ни ездили, а вернулись же домой. Лучше бы с самого начала оставаться нам с ним дома; он бы сидел на печи, а я бы ела овес».



**Л.Н. Толстой**

**Как мальчик рассказывал о том, как он перестал бояться слепых нищих**

*(Рассказ)*

Когда я был маленький, меня пугали слепыми нищими, и я боялся их. Один раз я пришел домой, а на крыльце сидело двое слепых нищих. Я не знал, что мне делать; я боялся бежать назад и боялся пройти мимо них: я думал, что они схватят меня. Вдруг один из них (у него были белые, как молоко, глаза) поднялся, взял меня за руку и сказал: “Паренек! что же милостыньку?” Я вырвался от него и прибежал к матери. Она выслала со мною денег и хлеба. Нищие обрадовались хлебу, стали креститься и есть. Потом нищий с белыми глазами сказал: “Хлеб твой хороший — спаси бог”. И он опять взял меня за руку и ощупал ее. Мне его стало жалко, и с тех пор я перестал бояться слепых нищих.

## Л.Н. Толстой

### Девочка и грибы

Две девочки шли домой с грибами.

Им надо было переходить через железную дорогу.

Они думали, что машина далеко, влезли на насыпь и пошли через рельсы.

Вдруг зашумела машина. Старшая девочка побежала назад, а меньшая — перебежала через дорогу.

Старшая девочка закричала сестре:

— Не ходи назад!

Но машина была так близко и так громко шумела, что меньшая девочка не расслышала; она подумала, что ей велят бежать назад. Она побежала назад через рельсы, споткнулась, выронила грибы и стала подбирать их.

Машина уже была близко, и машинист свистел что было силы.

Старшая девочка кричала:

— Брось грибы!

А маленькая девочка думала, что ей велят собрать грибы, и ползала по дороге.

Машинист не мог удержать машины. Она свистала изо всех сил и наехала на девочку.

Старшая девочка кричала и плакала. Все проезжающие смотрели из окон вагона, а кондуктор побежал на конец поезда, чтобы видеть, что случилось с девочкой.

Когда поезд прошёл, все увидели, что девочка лежит между рельсами головой вниз и не шевелится.

Потом, когда поезд уже отъехал далеко, девочка подняла голову, вскочила на колени, собрала грибы и побежала к сестре.

**Л.Н. Толстой**

## **ЛОЗИНА**

**(Быль)**

На святой пошел мужик посмотреть - оттаяла ли земля?

Он вышел на огород и колом ощупал землю. Земля раскисла. Мужик пошел в лес. В лесу на лозине уже надулись почки. Мужик и подумал: "Дай обсажу огород лозиной, вырастет - защита будет!" Взял топор, нарубил десяток лозиннику, затесал с толстых концов кольями и воткнул в землю.

Все лозинки выпустили побеги вверху с листьями и внизу под землею выпустили такие же побеги заместо кореньев; и одни зацепились за землю и принялись, а другие неловко зацепились за землю кореньями - замерли и повалились.

К осени мужик порадовался на свои лозины: шесть штук принялись. На другую весну овцы обгрызли четыре лозины, и две только остались. На другую весну и эти обгрызли овцы. Одна совсем пропала, а другая справилась, стала окореняться и разрослась деревом. Но веснам пчелы гудья гудели на лозине. В роевщину часто на лозину сажались рои, и мужики огребали их. Бабы и мужики часто завтракали и спали под лозиной; а ребята лазили на нее и выламывали из нее прутья.

Мужик - тот, что посадил лозину, давно уже умер, а она все росла. Старший сын два раза срубал с нее сучья и топил ими. Лозина все росла. Обрубят ее кругом, сделают шишку, а она на весну выпустит опять сучья, хоть и тоньше, но вдвое больше прежних, как вихор у жеребенка.

И старший сын перестал хозяйничать, и деревню сселили, а лозина все росла на чистом поле. Чужие мужики ездили, рубили ее - опа все росла. Грозой ударило в лозину; она справилась боковыми сучьями, и все росла и цвела. Один мужик хотел срубить ее на колоду, да бросил; она была дуже гнила. Лозина свалилась на бок и держалась только одним боком, а все росла, и все каждый год прилетали пчелы обирать с ее цветов поноску. Собрались раз ребята рано весной стеречь лошадей под лозину. Показалось им холодно: они стали разводять огонь, набрали жнивья, чернобылу, хворосту. Один взлез на лозину, с нее же наломал сучьев. Склали они все в дупло лозины и зажгли. Зашипела лозина, закипел в ней сок, пошел дым, и стал перебегать огонь; все нутро ее почернело.

Сморщились молодые побеги, цветы завяли. Ребята угнали домой лошадей. Обгорелая лозина осталась одна в поле. Прилетел черный ворон, сел на нее и закричал: "Что, издохла, старая кочерга, давно пора было!"

## А. П. ЧЕХОВ

### СТЕНА

...люди, кончившие курс в специальных заведениях, сидят без дела или же занимают должности, не имеющие ничего общего с их специальностью, и таким образом высшее техническое образование является у нас пока непроемчивым...  
(Из передовой статьи)

— Тут, ваше превосходительство, по два раза на день ходит какой-то Маслов, вас спрашивает...— говорил камердинер Иван, брея своего барина Букина.— И сегодня приходил, сказывал, что в управляющие хочет наняться... Обещался сегодня в час прийти... Чудной человек!

— Что такое?

— Сидит в передней и всё бормочет. Я, говорит, не лакей и не проситель, чтоб в передней по два часа тереться. Я, говорит, человек образованный... Хоть, говорит, твой барин и генерал, а скажи ему, что это невежливо людей в передней морить...

— И он бесконечно прав! — нахмурился Букин.— Как ты, братец, иногда бываешь нетактичен! Видишь, что человек порядочный, из чистеньких, ну и пригласил бы его куда-нибудь... к себе в комнату, что ли...

— Не важная птица! — усмехнулся Иван.— Не в генералы пришёл наняться, и в передней посидишь. Сидят люди и почище твоего носа, и то не обижаются... Коли ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, в образованные лезть... Тоже, поди ты, в гостиную захотел... харя немытая... Уж очень много нонче смешных людей развелось, ваше превосходительство!

— Если сегодня ещё раз придёт этот Маслов, то проси...

Ровно в час явился Маслов. Иван повёл его в кабинет.

— Вас граф ко мне прислал? — встретил его Букин.— Очень приятно познакомиться! Садитесь! Вот сюда садитесь, молодой человек, тут помягче будет... Вы уж тут были... мне говорили об этом, но, pardon, 1 я вечно или в отлучке, или занят. Курите, милейший... Да, действительно, мне нужен управляющий... С прежним мы немножко не поладили... Я ему не уважил, он мне не потрафил, пошли, знаете ли, контры... Хе-хе-хе... Вы ранее управляли где-нибудь именем?

— Да, я у Кишмаера год служил младшим управляющим... Имя было продано с аукциона, и мне поневоле пришлось ретироваться... Опыта у меня, конечно, почти нет, но я кончил в Петровской земледельческой академии, где изучал агрономию... Думаю, что мои науки хоть немного заменят мне практику...

— Какие же там, батенька, науки? Глядеть за рабочими, за лесниками... хлеб продавать, отчётность раз в год представлять... никаких тут наук не нужно! Тут нужны глаз острый, рот зубастый, голосина... Впрочем, знания не мешают...— вздохнул Букин.— Ну-с, имя мое находится в Орловской губернии. Как, что и почему, узнаете вы вот из этих планов и отчётов, сам же я в имении никогда не бываю, в дела не вмешиваюсь, и от меня, как от Расплюева, ничего не добьётесь, кроме того, что земля чёрная, лес зелёный. 2 Условия, я думаю, останутся прежние, то есть тысяча жалованья, квартира, провизия, экипаж и полнейшая свобода действий!

«Да он душка!» — подумал Маслов.

— Только вот что, батенька... Простите, но лучше заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там что хотите, но да хранит вас бог от нововведений, не сбивайте с толку мужиков и, что главнее всего, хапайте не более тысячи в год...

— Простите, я не расслышал последней фразы... — пробормотал Маслов.

— Хапайте не больше тысячи в год... Конечно, без хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мера, мера! Ваш предшественник увлёкся и на одной шерсти стилиснул пять тысяч, и... и мы разошлись. Конечно, по-своему он прав... человек ищет, где лучше, и своя рубашка ближе к телу, но, согласитесь, для меня это тяжелько. Так вот помните же: тысячу можно... ну, так и быть уж — две, но не дальше!

— Вы говорите со мной, словно с мошенником! — вспыхнул Маслов, поднимаясь. — Извините, я к таким беседам не привык...

— Да? Как угодно-с... Не смею удерживать...

Маслов взял шапку и быстро вышел.

— Что, папа, нанял управляющего? — спросила Букина его дочь по уходе Маслова.

— Нет... Уж больно малый... тово... честен...

— Что ж, и отлично! Чего же тебе ещё нужно?

— Нет, спаси господи и помилуй от честных людей... Если честен, то наверное или дела своего не знает, или же авантюрист, пустомеля... дурак. Избави бог... Честный не крадёт, не крадёт, да уж зато как царапнет залпом за один раз, так только рот разинешь... Нет, душечка, спаси бог от этих честных...

Букин подумал и сказал:

— Пять человек являлось и всё такие, как этот... Чёрт знает, счастье какое! Придётся, вероятно, прежнего управляющего пригласить...

1885

## А. П. ЧЕХОВ

### НЕ В ДУХЕ

Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятное чувство. Вчера он заезжал по делу к воинскому начальнику, сел нечаянно играть в карты и проиграл восемь рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но бес жадности и корыстолюбия сидел в ухе станowego и упрекал его в расточительности.

-- Восемь рублей -- экая важность! -- заглушал в себе Прачкин этого беса. -- Люди и больше проигрывают, да ничего. И к тому же деньги дело наживное... Съездил раз на фабрику или в трактир Рылова, вот тебе и все восемь, даже еще больше!

-- "Зима... Крестьянин, торжествуя..." -- монотонно зубрил в соседней комнате сын станowego, Ваня. -- "Крестьянин, торжествуя... обновляет путь..."

-- Да и отыграться можно... Что это там "торжествуя"?

-- "Крестьянин, торжествуя, обновляет путь... обновляет..."

-- "Торжествуя..." -- продолжал размышлять Прачкин. -- Влепить бы ему десяток горячих, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подати исправно платил... Восемь рублей -- экая важность! Не восемь тысяч, всегда отыграться можно...

-- "Его лошадка, снег почуя... снег почуя, плетется рысью как-нибудь..."

-- Еще бы она вскачь понеслась! Рысак какой нашелся, скажи на милость! Кляча -- кляча и есть... Нерассудительный мужик рад спяну лошадь гнать, а потом как угодит в прорубь или в овраг, тогда и возись с ним... Поскачи только мне, так я тебе такого скипидару пропишу, что лет пять не забудешь!.. И зачем это я с маленькой пошел? Пойди я с туза треф, не был бы я без двух...

-- "Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая... бразды пушистые взрывая..."

-- "Взрывая... Бразды взрывая... бразды..." Скажет же этакую штуку! Позволяют же писать, прости господи! А все десятка, в сущности, наделала! Принесли же ее черти не вовремя!

-- "Вот бегают дворовый мальчик... дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив... посадив..."

-- Стало быть, наелся, коли бегают да балуется... А у родителей нет того в уме, чтоб мальчишку за дело усадить. Чем собаку-то возить, лучше бы дрова колот или Священное писание читал... И собак тоже развели... ни пройти, ни проехать! Было бы мне после ужина не садиться... Поужинать бы, да и уехать...

-- "Ему и больно и смешно, а мать грозит... а мать грозит ему в окно..."

-- Грози, грози... Леня на двор выйти да наказать... Задрала бы ему шубенку да чик-чик! чик-чик! Это лучше, чем пальцем грозить... А то, гляди, выйдет из него пьяница... Кто это сочинил? -- спросил громко Прачкин.

-- Пушкин, папаша.

-- Пушкин? Гм!.. Должно быть, чудака какой-нибудь. Пишут-пишут, а что пишут -- и сами не понимают. Лишь бы написать!

-- Папаша, мужик муку привез! -- крикнул Ваня.

-- Принять!

Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительнее становилась для него потеря. Так было жалко восьми рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл восемь тысяч. Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин стал у окна и, тоскуя, впери свой печальный взор в снежные сугробы... Но вид сугробов только растеребил его сердечную рану. Он напомнил ему о вчерашней поездке к воинскому начальнику. Заиграла желчь, подкатило под душу... Потребность излить на чем-нибудь свое горе достигла степеней, не терпящих отлагательства. Он не вынес...

-- Ваня! -- крикнул он. -- Иди, я тебя высеку за то, что ты вчера стекло разбил!

## А. П. ЧЕХОВ

### С ЖЕНОЙ ПОССОРИЛСЯ (СЛУЧАЙ)

-- Черт вас возьми! Придешь со службы домой голодный, как собака, а они черт знает чем кормят! Да и заметить еще нельзя! Заметишь, так сейчас рев, слезы! Будь я трижды анафема за то, что женился!

Сказавши это, муж звякнул по тарелке ложкой, вскочил и с остервенением хлопнул дверью. Жена зарыдала, прижала к лицу салфетку и тоже вышла. Обед кончился.

Муж пришел к себе в кабинет, повалился на диван и уткнул свое лицо в подушку.

"Черт тебя дернул жениться! -- подумал он. -- Хороша семейная жизнь, нечего сказать! Не успел жениться, как уж стреляться хочется!"

Через четверть часа за дверью послышались легкие шаги...

"Да, это в порядке вещей... Оскорбила, надругалась, а теперь около двери ходит, мириться хочет... Ну, черта с два! Скорей повешусь, чем помирюсь!"

Дверь отворилась с тихим скрипом и не затворилась. Кто-то вошел и тихими, робкими шагами направился к дивану.

"Ладно! Проси прощения, умоляй, рыдай... Кукиш с маслом получишь! черта пухлого! Ни одного слова не добьешься, хоть умри... Сплю вот и говорить не желаю!"

Муж глубже зарыл свою голову в подушку и тихо захрапел. Но мужчины слабы так же, как и женщины. Их легко раскислить и растеплить. Почувствовав за своей спиной теплое тело, муж упрямо придвинулся к спинке дивана и дернул ногой.

"Да... Теперь вот мы лезем, прижимаемся, подлизываемся... Скоро начнем в плечико целовать, на колени становиться. Не выношу этих нежностей!.. Все-таки... нужно будет ее извинить. Ей в ее положении вредно тревожиться. Помучу часик, накажу и прощу..."

Над самым ухом его тихо пролетел глубокий вздох. За ним другой, третий... Муж почувствовал на плече прикосновение маленькой ручки.

"Ну, бог с ней! Прощу в последний раз. Будет ее мучить, бедняжку! Тем более, что я сам виноват! Из-за ерунды бунт поднял..." -- Ну, будет, моя крошка!

Муж протянул назад руку и обнял теплое тело.

-- Тьфу!!.

Около него лежала его большая собака Дианка.

**И.А. Бунин**

## **ВОЛКИ**

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками -- мелкопоместной барышней и юношей гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубахе на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее -- вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича:

-- Волков боюсь!

Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юноши и ее возбужденное широкоскулое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круглую, крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, он намерение громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

-- Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.

-- Сейчас, сейчас! -- кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зарница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натывается на что-то -- малый круто осаживает лошадей.

-- Волки! -- вскрикивает он.

В глаза бьет зарево пожара вдали направо. Тележка стоит против того леска, что открывался при зарницах. Лесок от зарева стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем теньями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, -- кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, -- прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам...

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и, когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась:

-- Дела давно минувших дней! -- говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звезд. -- Волки испугали, лошади понесли, -- говорила она. -- А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку.

7 октября 1940



**И.А. Бунин**

## **ЧАСОВНЯ**

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, -- бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...

-- А зачем он себя застрелил?

-- Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...

В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.

2 июля 1944

**В.Т. Шаламов**

### **По снегу**

Как топчут дорогу по снежной целине? Впереди идет человек, потев и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдышал, - воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтоб ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной: скалу, высокое дерево, - человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс.

По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину, то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стезька, а не дорога. - ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели.

1956

**В.Т. Шаламов**

## **Одиночный замер**

Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг "десяток кубиков до послезавтра", внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал подчищать давно вычищенный забой.

Дугаеву было двадцать три года, и все, что он здесь видел и слышал, больше удивляло, чем пугало его.

Бригада собралась на переключку, сдала инструмент и в арестантском неровном строю вернулась в барак. Трудный день был кончен. В с головой Дугаев, не садясь, выпил через борт миски порцию жидкого холодного крупяного супа. Хлеб выдавался утром на весь день и был давно съеден. Хотелось курить. Он огляделся, соображая, у кого бы выпросить окурочек. На подоконнике Баранов собирал в бумажку махорочные крупинки из вывернутого кисета. Собрав их тщательно, Баранов свернул тоненькую папироску и протянул ее Дугаеву.

- Кури, мне оставишь, - предложил он. Дугаев удивился - они с Барановым не были дружны. Впрочем, при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. Дугаев хорошо помнил северную поговорку, три арестантские заповеди: не верь, не бойся и не проси...

Дугаев жадно всосал сладкий махорочный дым, и голова его закружилась.

- Слабею, - сказал он.

Баранов промолчал.

Дугаев вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные - буханки хлеба, дымящиеся жирные супы... Забыть наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза.

Бригада пришла на работу. Все разошлись по своим забоям.

- А ты подожди, - сказал бригадир Дугаеву. - Тебя смотритель поставит.

Дугаев сел на землю. Он уже успел утомиться настолько, чтобы с полным безразличием отнестись к любой перемене в своей судьбе.

Загремели первые тачки на трапе, заскрежетали лопаты о камень.

- Иди сюда, - сказал Дугаеву смотритель. - Вот тебе место. - Он вымерил кубатуру забоя и поставил метку - кусок кварца. - Досюда, - сказал он. - Траповщик тебе доску до главного трапа дотянет. Возить туда, куда и все. Вот тебе лопата, кайло, лом, тачка - вози.

Дугаев послушно начал работу.

"Еще лучше", - думал он. Никто из товарищей не будет ворчать, что он работает плохо. Бывшие хлебоборбы не обязаны понимать и знать, что Дугаев новичок, что сразу после школы он стал учиться в университете, а университетскую скамью променял на этот забой. Каждый за себя. Они не обязаны, не должны понимать, что он истощен и голоден уже давно, что он не

умеет красть: умение красть - это главная северная добродетель во всех ее видах, начиная от хлеба товарища и кончая выпиской тысячных премий начальству за несуществующие, небывшие достижения. Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдержать шестнадцатичасового рабочего дня.

Дугаев возил, кайлил, сыпал, опять возил и опять кайлил и сыпал.

После обеденного перерыва пришел смотритель, поглядел на сделанное Дугаевым и молча ушел... Дугаев опять кайлил и сыпал. До кварцевой метки было еще очень далеко.

Вечером смотритель снова явился и размотал рулетку. Он смерил то, что сделал Дугаев.

- Двадцать пять процентов, - сказал он и посмотрел на Дугаева. - Двадцать пять процентов. Ты слышишь?

- Слышу, - сказал Дугаев. Его удивила эта цифра. Работа была так тяжела, так мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить. Цифра - двадцать пять процентов нормы - показалась Дугаеву очень большой. Ныли икры, от упора на тачку нестерпимо болели руки, плечи, голова. Чувство голода давно покинуло его.

Дугаев ел потому, что видел, как едят другие, что-то подсказывало ему: надо есть. Но он не хотел есть.

- Ну, что ж, - сказал смотритель, уходя. - Желаю здравствовать.

Вечером Дугаева вызвали к следователю. Он ответил на четыре вопроса: имя, фамилия, статья, срок. Четыре вопроса, которые по тридцать раз в день задают арестанту. Потом Дугаев пошел спать. На следующий день он опять работал с бригадой, с Барановым, а в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу, и повели по лесной тропке к месту, где, почти перегораживая небольшое ущелье, стоял высокий забор с колючей проволокой, натянутой поверху, и откуда по ночам доносилось отдаленное стрекотание тракторов. И, поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день.

1955

**Стланик**

На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц, что достигают зрелости в триста лет, живет особенное дерево - стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач, - вечнозеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в два-три метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна.

Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках, тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет, тучи бродят где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему...

А стланик гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик погружается в зимнюю спячку, как медведь. На белой горе взбухают огромные снежные волдыри - это кусты стланика легли зимовать.

А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего - воздух разрежен и сух и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять - этого недостаточно для предсказаний и угадываний.

Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметана икринка, из которой развилась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений-барометров, цветов-барометров известно нам немало.

И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на Севере. Зима кончилась.

Бывает и другое: костер. Стланик слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой, рядом с согнувшимся, скрюченным по-зимнему кустом стланика развести костер - стланик встанет. Костер погаснет - и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом.

Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик - дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромнен и незаметен - все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы, палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика.

Мне стланик представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленные плакучая ива, чинара, кипарис. И дрова из стланика жарче.



Калигула

Записка была получена в РУРе еще до гудка в сумерки.

Комендант зажег бензинку, прочел бумагу и торопливо пошел отдать распоряжение.

Коменданту ничего не казалось странным.

- Он не того? - спросил дежурный надзиратель, показывая себе на лоб.

Комендант холодно посмотрел на солдата, и дежурному стало страшно за свое легкомыслие. Он отвел глаза на дорогу.

- Ведут, - сказал он, - сам Ардатов идет.

Сквозь туман были видны два конвоира с винтовками. За ними возчик вел в поводу серую исхудалую лошадь. Сзади лошади без дороги, прямо по снегу шагал грузный большой человек. Белый овчинный полушубок был распахнут, шапка-барнаулка сбита на затылок. В руке он держал палку и нещадно бил по костлявым, грязным, впавшим бокам лошади. Лошадь дергалась от каждого удара и продолжала плестись, не в силах ускорить шаг. У проходной будки конвоиры остановили лошадь, и Ардатов, пошатываясь, вышел вперед. Он сам дышал как запаленный конь, обдавая запахом спирта вытянувшегося в струнку коменданта.

- Готово? - прохрипел он.

- Так точно! - ответил комендант.

- Тащи ее! - заорал Ардатов. - Принимай на довольствие. Людей наказываю - лошадей миловать не буду. Я ее доведу до дела. Третий день не работает, - бормотал он, тыча кулаком в грудь коменданта. - Я возчика хотел посадить. План ведь срывается. Пла-ан... Возчик клянется: "Не я, лошадь не работает". Я п-понимаю, - икал Ардатов, - я в-верю... Дай, говорю, вожжи. Взял вожжи - не идет. Бью - не идет. Сахар даю - нарочно из дому взял - не берет. Ах ты, думаю, гадина, куда же мне теперь твои трудодни списывать? Туда ее - ко всем филонам, ко всем врагам человечества - в карцер. На голую воду. Трое суток для первого раза.

Ардатов сел на снег и снял шапку. Мокрые спутанные волосы сползли на глаза. Пытаясь встать, он качнулся и вдруг опрокинулся на спину.

Надзиратель и комендант втащили его в дежурку. Ардатов спал.

- Домой отнесем?

- Не надо. Жена не любит.

- А лошадь?

- Надо вести. Проснется, узнает, что не посадили, - убьет. Сажай ее в четвертую. К интеллигенции.

Два сторожа из заключенных внесли в дежурку дрова на ночь и стали укладывать их около печки.

- Что скажете, Петр Григорьевич? - сказал один из них, показывая глазами на дверь, за которой храпел Ардатов.

- Скажу, что это не ново... Калигула...

- Да, да, как у Державина, - подхватил второй и, выпрямившись, с чувством прочел:

Калигула, твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате,

Сияют добрые дела...

Старики закурили, и голубой махорочный дым поплыл по комнате.

**А.И. Солженицын**  
**СТАРОЕ ВЕДРО**

Ох, да и тоскливо же бывшему фронтовику бродить по Картунскому бору. Какая-то земля здесь такая, что восемнадцатый год сохраняются, лишь чуть обвалились, не то что полосы траншей, не то что огневые позиции пушек — но отдельная стрелковая ячейка маленькая, где неведомый Иван хоронил своё большое тело в измызганной короткой шинельке. Брёвна с блиндажных перекрытий за эти годы, конечно, растащили, а ямы остались ясные.

Хоть в этом самом бору я не воевал, а — рядом, в таком же. Хожу от блиндажа к блиндажу, соображаю, где что могло быть. И вдруг у одного блиндажа, у выхода, наталкиваюсь на старое, восемнадцать лет лежалое, а и до тех восемнадцати уже отслужившее ведро.

Оно уж тогда было худое, в первую военную зиму. Может, из деревни сгоревшей подхватил его сообразительный солдатик да стенки ко дну ещё на конус смял и приладил его переходом от жестяной печки в трубу. Вот в этом самом блиндаже в ту тревожную зиму, дней девяносто, а может сто пятьдесят, когда фронт тут остановился, гнало худое ведро через себя дым. Оно накалялось шибко, от него руки грели, от него прикуривать можно было, и хлеб близ него поджаривали. Сколько дыму через себя ведро пропустило — столько и мыслей невысказанных, писем ненаписанных — от людей, уже, может быть, покойных давно.

А потом как-нибудь утром, при весёлом солнышке, боевой порядок меняли, блиндаж бросали, командир торопил свою команду — «ну! ну!» — ординарец печку порушил, втиснул её всю на машину, и колена все, а худому ведру места не нашлось. «Брось ты его, заразу! — старшина крикнул. — Там другое найдёшь!» Ехать было далеко, да и дело уж к весне поворачивало, постоял ординарец с худым ведром, вздохнул — и опустил его у входа.

И все засмеялись.

С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик — а худое ведро так и осталось у своего блиндажа.

Стою над ним, нахлынуло. Ребята чистые, друзья фронтовые! Чем были живы мы, и на что надеялись, и самая дружба наша бескорыстная — прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому, забытому...



**А.И. Солженицын**

## **ПУТЕШЕСТВУЯ ВДОЛЬ ОКИ**

Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа.

Он — в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точёными, резными поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью — они издали издали кивают друг другу, они из сёл разобщённых, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу.

И где б ты в поле, в лугах ни брёл, вдали от всякого жилья, — никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов намётанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки то из Борок Ловецких, то из Любичей, то из Гавриловского.

Но тыходишь в село и узнаёшь, что не живые — убитые приветствовали тебя издали. Кресты давно сшиблены или скривлены; ободранный купол зияет остовом поржавевших рёбер; растёт бурьян на крышах и в расщелинах стен; редко ещё сохранилось кладбище вокруг церкви; а то свалены и его кресты, выворочены могилы; заалтарные образы смыты дождями десятилетий, исписаны похабными надписями.

На паперти — бочки с соляжкой, к ним разворачивается трактор. Или грузовик въехал кузовом в дверь притвора, берёт мешки. В той церкви подрагивают станки. Эта — просто на замке, безмолвная. Ещё в одной и ещё в одной — клубы. «Добьёмся высоких удоёв!» «Поэма о море». «Великий подвиг».

И всегда люди были корыстны, и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли — вечности. Этот звон, сохранившийся нам теперь в одном только старом напеве, поднимал людей от того, чтоб опуститься на четыре ноги.

В эти камни, в колоколенки эти, наши предки вложили всё своё лучшее, всё своё понимание жизни.

Ковыряй, Витька, долбай, не жале! Кино будет в шесть, танцы в восемь...

## МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

### АГИТАТОР

Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.

— Ну что ж, товарищ Косоносов,— говорили ему приятели перед отъездом,— поедете, так уж вы того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается... Может, мужички на аэроплан сложатся.

— Это будьте уверены,— говорил Косоносов,— поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу.

В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в Совет.

— Вот,— сказал,— желаю поагитировать. Как я есть приехавши из города, так нельзя ли собрание собрать?

— Что ж,— сказал председатель,— валяйте, завтра соберу мужичков.

На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая.

Григорий Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом.

— Так вот, этого...— сказал Косоносов,— авиация, товарищи крестьяне... Как вы есть народ, конечно, тёмный, то, этого, про политику скажу... Тут, скажем, Германия, а тут Керзон. Тут Россия, а тут... вообще...

— Это ты про что? — не поняли мужички.

— Про что? — обиделся Косоносов.— Про авиацию я. Развивается, этого, авиация... Тут Россия, а тут Китай.

Мужички слушали мрачно.

— Не задёрживай! — крикнул кто-то сзади.

— Я не задёрживаю,— сказал Косоносов.— Я про авиацию... Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю...

— Непонятно! — крикнул председатель.— Вы, товарищ, ближе к массам...

Косоносов подошёл ближе к толпе и, свернув «козью ножку», снова начал:

— Так вот, этого, товарищи крестьяне... Строят еропланы и летают после. По воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится — бабахнет вниз. Как это лётчик товарищ Ермилкин. Взлететь — взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь...

— Не птица ведь,— сказали мужики.

— Я же и говорю,— обрадовался Косоносов поддержке,— известно — не птица. Птица — та упадёт, ей хоть бы хрен — отряхнулась и дальше... А тут накось, выкуси... Другой тоже лётчик, товарищ Михаил Иванович Попков. Полетел, всё честь честью, бац — в моторе порча... Как бабахнет...

— Ну? — спросили мужики.

— Ей-богу... А то один на деревья сверзился. И висит, что маленький. Испужался, блажит, умора... Разные бывают случаи... А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик — и на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо — разобрать невозможно... Собаки тоже, бывает, попадают.

— И лошади? — спросили мужики.— Неужто и лошади, родимый, попадают?

— И лошади,— сказал Косоносов.— Очень просто.

— Ишь черти, вред им в ухо,— сказал кто-то.— До чего додумались! Лошадей крошить...

И что ж, милый, развивается это?

— Я же и говорю,— сказал Косоносов,— развивается, товарищи крестьяне... Вы, этого, соберитесь миром и жертвуйте.

— Это на что же, милый, жертвовать? — спросили мужики.

— На ероплан,— сказал Косоносов.

Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.

1923

## СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например. Карусель. Или какая-нибудь студия с музыкой.

Всё это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской.

И действительно, граждане, взять для примера хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Коленкорова. Человек пропал буквально и персонально. И вообще жил, как последняя курица.

По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и воскресным дням напивался Пётр Антонович до крайности. Беспредельно напивался.

И в пьяном виде дрался, вола вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лёжа возвращался.

И уж, конечно, за всю неделю никакой культработы не нёс этот Пётр Антонович. Разве что в субботу в баньку ходит, пополощется. Вот вам и вся культработа.

Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались. Стращали даже.

— Пётр,— говорят,— Антонович. Человек вы квалифицированный, не первой свежести, ну, мало ли в пьяном виде трюхнетесь об тумбу — разобьётесь же. Пейте несколько полегче. Сделайте такое семейное одолжение.

Не слушает. Пьёт по-прежнему и веселится.

Наконец, нашёлся один добродушный человек с месткома. Он, знаете ли, прямо так и сказал Петру Антоновичу:

— Пётр,— говорит,— Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголя. Ну,— говорит,— попробуйте заместо того в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас честью и билет вам дарма предлагаю.

Пётр Антонович говорит:

— Ежели,— говорит,— дарма, то попробовать можно, отчего же. От этого,— говорит,— не разорюсь, ежели то есть дарма.

Упросил, одним словом.

Пошёл Пётр Антонович в театр. Понравилось. До того понравилось — уходить не хотел.

Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, всё сидит и сидит.

— Куда же,— говорит,— я теперича пойду, на ночь глядя? Небось,— говорит,— все портерные закрыты уж. Ишь,— говорит,— дьяволы, в какое предприятие втравили!

Однако поломался-поломался и пошёл домой. И трезвый, знаете ли, пошёл. То есть ни в одном глазу.

На другое воскресенье опять пошёл. На третье — сам в местком за билетом сбегал.

И что вы думаете? Увлёкся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу — дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенёс на четверг.

А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Пётр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошёл. Это был единственный раз за весь сезон, когда Пётр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью, небось, поправится и пойдёт. Потому — захватило человека искусство. Понесло...

После боя

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блеснул золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали. Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начеку шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

- Лютов, - крикнул он, завидев меня, - завори мне бойцов, душа из тебя вон!...

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

- Наверх, Гулимов, - сказал я, - завори коня...

- Кобылячий хвост завори, - ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

- Твоя завори, - прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

- Твоя вперед, - повторял он чуть слышно, - моя за тобой следом... - легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли. Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсади на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом, Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

- Куда паруса надула? - сказал сестре Воробьев. - Посиди с нами, Саш...

- Не сяду я с вами, - ответила Сашка и ударила кобылу в живот, - не сяду...

- Что так? - закричал Воробьев, смеясь. - Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?

...

- С тобой передумала, - обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. - Передумала я, Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир...

- А когда видала, - пробормотал Воробьев, - так и стрелять было впору...

- Стрелять?! - с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. - Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

- Стрелять тебе нечем, Сашок, - сказал он успокоительно, - тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, - закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, - ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?

- Отвяжись, Иван, - сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

- Поляк тебя да, а ты его нет... - бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. - Где тому причина?...

- Поляк меня да, - ответил я дерзко, - а я поляка нет...

- Значит, ты молокан? - прошептал Акинфиев, отступая.

- Значит, молокан, - сказал я громче прежнего. - Чего тебе надо?

- Мне того надо, что ты при сознании, - закричал Иван с диким торжеством. - Ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

- Ты патронов не залаживал, - с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, - ты бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

- У петухов одна забота, - сказала Сашка, - друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшись на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений - уметь убить человека.